

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР»: АРХЕОЛОГИЯ ИДЕИ

Предлагаемый вниманию читателя выпуск «Диалога со временем» основывается на материалах научной конференции «Национальный / социальный характер: археология идеи и современное наследство», организованной Российским обществом интеллектуальной истории совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского в сентябре 2010 года.

Уже само название конференции было своеобразным тестом для ее потенциальных участников, и организаторы вполне отдавали себе в этом отчет. Словосочетание «археология идеи» отсылало к известным трудам М. Фуко и задавало определенную норму понимания того, что стояло в названии на первом месте: национальный (или социальный) «характер» предлагалось рассмотреть не в сущностном плане, а как познавательный конструкт, свойственный той или иной «дискурсивной формации». Например, в анализе «литературы путешествий» предлагалось обратить внимание скорее не на те черты, которые подмечает автор травелога у чужаков, воспроизводя те или иные формы стереотипного этноцентризма, а на то какими описательными средствами он пользуется и откуда их черпает, какие социальные, гносеологические, языковые, психологические механизмы приходят при этом в движение.

Методологическое обновление социально-гуманитарного знания и поиски новой идентичности в России в последние десятилетия имели оборотной стороной (во всяком случае, у части авторов) осознанный или бессознательный возврат к натурализму и фундаментализму прошлого. Своего рода «романтическая реакция», тоска по надежному, устойчивому, предсказуемому усиливается в моменты социальной и мировоззренческой неопределенности. И «национальный характер» (как вариант – более расплывчатый «менталитет», понятый как набор «извечных» предпочтений, ценностей, ориентиров этнической общности) занял довольно прочные позиции в публицистике, в популярной и учебной литературе. Тенденция к овеществлению понятий, латентная для советского обществоведения, вышла на поверхность в постсоветское время¹. Отсылки к некоей «духовной реальности», в сниженном виде – к психоло-

¹ Шнирельман. 2011. С. 328–360.

гии россиян (при всей бедности методологической оснастки и трудностях локализации предмета обсуждения) компенсировали фрустрации затянувшегося переходного периода, когда его конечная цель становилась сомнительной или смутной. И даже в аудитории профессиональных историков, собравшихся на конференцию в Нижнем Новгороде, *существование* «национального характера» еще вызывало споры. Такую ситуацию можно было бы рассматривать и как подтверждение гипотезы о метафорическом характере нашего знания, в частности, о господстве антропоморфной метафоры в «классической историографии»².

Между тем, познавательный потенциал категории «национальный характер» оказался под вопросом уже в середине XX века³, когда его пытались нарастить с помощью методов социальной и кросскультурной психологии и антропологии. Уже тогда этот термин воспринимался скорее как конвенциональное иносказание и нередко замещался другими. Во всяком случае, представление о постоянном и неизменном в своей основе наборе культурных и психологических черт ушло в прошлое, а сама реальность, к которой отсылала метафора «характера», как подсказывал исследовательский опыт, требовала контекстуального рассмотрения, а также изощренной техники измерений и интерпретаций⁴.

Способность историков внести свою лепту в эту работу предопределена следующим: «Задолго до того, как та или иная социальная проблема становится предметом научного исследования, она становится и осмысливается людьми на уровне, так сказать, обыденного сознания. Представления, мнения, образы, существующие в обыденном сознании или по-своему обобщенные средствами искусства, конечно, не отличаются научной строгостью, и при ближайшем рассмотрении многие из них оказываются предрассудками. Многие, но не все»⁵. Быть может, эта область обыденного сознания и является *особой* предметной «территорией» для историков? Эта сумеречная зона практического и вместе с тем мифологического знания, по убеждению некоторых, – одно из главных препятствий для превращения истории в подлинную «науку», даже если использовать в определении более мягкий гуманитарный стандарт.

Во-первых, историк в отличие от антрополога или социолога, также изучающих групповое обыденное сознание, не имеет возможности «по-

² Вжосек. 2009.

³ Первые сомнения на сей счет можно встретить и у некоторых романтиков: Хэзлитт. 2010. С. 335–349.

⁴ Кон. 1971. Ср., однако: Лурье. 1994. Гл. 1.

⁵ В переработанной версии статьи автор сохранил этот пассаж: Кон. 1999. С. 307.

левого исследования» и «включенного наблюдения», его знания об объектах всегда опосредованы. С другой стороны, он не может инкриминировать людям прошлого те же модели мышления, что были изучены его собратьями гуманитариями, которые, кстати, несвободны от методологических сомнений относительно своей работы. Категории обыденного сознания ушедших эпох труднее подвергнуть научному острашению, и это одна из причин того, что язык историка до сих пор сохраняет родовую связь с речевой стихией, сопротивляясь инструментализации. Но это всего лишь аргумент в пользу более внимательного отношения к языку и обновленного союза истории и филологии.

Во-вторых, парадоксальным образом обыденное сознание, именно по причине своей распространенности и вездесущности, оказывается трудно уловимым и выявляемым. Оно скорее задает рамки мышления и познания, нежели является таковым. Власть обыденного проявляется в момент создания репрезентаций. И в силу их известного разнообразия можно судить об узости этих врат. Хотя наука, как известно, начинается за порогом очевидного, вряд ли она может торжествовать полную победу над «предрасудками» или уверенно надеяться на нее в будущем. И это общее теперь уже замечание вовсе не отрицает прогресса научного знания или силы научной рефлексии. Но если внимание внутридисциплинарной истории науки чаще всего направлено на магистральный прирост знания – открытия, изобретения и ключевые теории, – то интерес интеллектуальной истории нередко прикован к маргинальным и теневым зонам производства этого знания, где диффузия обыденного мышления, социальные и культурные преломления познавательного процесса предстают в обнаженном виде.

Создание репрезентаций – результат многих выборов, выявляемых с помощью перекрестных контекстов (синхронных и диахронных), а также перемасштабирования и реструктуризации познавательного поля. Вербальная репрезентация или зрительный образ – это акт, обусловленный иными социальными актами. Поэтому анализ коммуникативных процедур и протоколов (их нарушения), семантических сдвигов и визуальных эффектов, понятий и символов является не только вопросом исследовательской дистанции по отношению к предрасудкам и стереотипам (обыденному сознанию) или простого признания «инаковости» прошлого. Это еще и способ понимания многочисленных и многосложных социальных и культурных трансформаций, в конечном счете – современного мира и современного сознания.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Вжосек В.* Классическая историография как носитель национальной (националистической) идеи // Диалог со временем. 2009. Вып. 30. С. 5–13.
- Кон И. С.* К проблеме национального характера // История и психологии / Под ред. Б. Ф. Поршнева. М. Наука, 1971. С. 122–158.
- Кон И. С.* Социологическая психология. М.; Воронеж: Московский психологический институт, Изд-во НПО «Модек», 1999.
- Лурье С. В.* Метаморфозы традиционного сознания (Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их применения к анализу исторического и этнографического материала). СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994.
- Хэзлитт У.* Застольные беседы. М.: Ладомир–Наука, 2010.
- Шнирельман В. А.* «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

М. В. Белов